

## ЧЕЛОВЕК НА ОСТАНОВКЕ

Как-то раз, ещё в конце девяностых годов прошлого века, я в грязный весенний день, который полнился белыми снежными покровами, похожими на давно не менянное небом неопрятное постельное бельё, вышел из автобуса на остановке 1905 года. Казалось, люди чёрными теньями валялись в этом снежном белье и скользили по нему в тщетной надежде приподняться, но вновь падали в эту мартовскую грязь, как прокажённые.

Вдруг в тот момент, когда я обходил лужу, со скамейки автобусной остановки приподнялся мужчина и направился ко мне. Его фигура на фоне бедного крытого сверху и открытого с боков остова остановки выглядела ещё более убитой. Светлый запачканный мятый плащ мужчины, давно потерявшие вид ботинки и его неприбранная шевелюра – всё это приблизилось ко мне и спросило:

– Мне кажется, мы где-то с вами встречались, но никак не могу вспомнить, где?

Мне тоже его образ показался знакомым, но в тот же миг я подумал о том, что, возможно, так мне только кажется, потому что его образ был уж очень растерзанный жизнью и созвучен моему нынешнему состоянию: в тот период сам себе я казался существом, походившим на разваливающегося прямо на людских глазах неудачника.

– Нет, не припомню, – ответил я растрёпанному человеку и для убедительности недоуменно пожал плечами.

Одетый в серый плащ небритый помятый человек отступил от меня в своих стоптанных ботинках, и я увидел, что его старые в чёрно-серую полоску брюки очень загрязнились по нижней кайме – и он, шлёпая ботинками по безрадостной грязи, пробормотав: «Странно», побежал к подъехавшему троллейбусу.

Нет, не припомню, снова подумал я. Хотя мне вновь показалось, что этого человека я где-то уже видел достаточно близко. Видел, и даже с ним говорил на какую-то интересующую нас общую тему – и наш разговор гребёнкой какое-то дело расчёсывал, чтобы всё в нём было ясно и понятно... Но больше ничего не мог вспомнить...

Вскоре, сделав пересадку на остановке, я ехал в маршрутке и бездумно смотрел в окно. За стеклом дневной луч постепенно гас, и синяя тьма голубой бесчисленной армией окутывала коробки домов. Я смотрел то на дома, то на грязную дорогу, и в этот момент вдруг меня осенило – я вспомнил, где видел повстречавшегося мне на остановке человека.

Память рыбой всплыла, и я наконец-то сумел поймать за жабры тот случай, когда мы встречались с этим человеком. Тогда, несколько лет назад, я подрабатывал тем, что, работая в одной коммерческой фирме, развозил по магазинам и сдавал им на реализацию различных товар.

Однажды вечером я приехал в один из таких продуктовых магазинчиков, находившийся в престижном районе Белого Озера. И в то время, когда мы с товароведом оформляли партию печенья в одном из пахнущих заплесневелой сыростью подсобных служебных помещений, в комнату вплыла блестящая с огромными сытыми жабрами рыба.

Конечно же, это была не рыба, а хозяин магазина, приехавший к концу рабочего дня снять кассу. Прекрасный синий костюм, чёрные сияющие ботинки, красивые ключи от машины зажаты на пальце руки, а большая густая шевелюра на голове была аккуратно уложена в дорогой львиный ореол, дополнительно окружённый ароматом причудливых духов. Наверное, из-за этой львиной шевелюры мне потом и начало казаться, что тот наш деловой разговор напоминал расчёску.

И сейчас, сидя в автобусе, я вдруг взял и соединил тот вспомнившийся мне мощный львиный образ с расплюснутым в тонкий дрожащий лист видом встреченного мной на остановке человека – и понял, что это одно и то же лицо!

Похоже, льва растерзали жизненные обстоятельства, бизнес у него рухнул, и он превратился в полубритого разрываемого штормами моряка, давно потерявшего остров благополучия и роз. И здесь, в этом нашем море беспокойства и неурядиц, ему никак не попадалась рыба удачи, в которой после её разрезания наверняка нашлись бы реки и озёра, в которых в свою очередь водилось много золотой и серебряной рыбы. Пусть и мелкой рыбы, но способной облагородить жизнь человека ярким бисером, похожим на мелкую кольчугу, защищающую от непредвиденных ударов судьбы и косых сабельных взглядов.

Но на этом человеке не было кольчуги, его покрывала болотная тина. Конечно, покрывала не в прямом смысле: просто так казалось, когда этот человек из-под своего морщинистого лица поднимал веки и словно не мог их удержать под гнётом забот, опуская их вниз под свои ноги, по локоть увязшие в трясине российского бытия.

Я ехал в автобусе и смотрел в окно. Да, я вспомнил этого человека и его небольшой магазинчик. Похоже, теперь магазинчика нет – он кораблём разбился и затонул, оставив своего капитана обречённо день изо дня мыться в тесной ложке дёгтя. Но никак из той ложки невозможно было выбраться в большой и счастливый райский мёд света и радости.

Потерявший корабль-магазинчик капитан бесполезным неряшливым обломком бился с жизнью возле автобусной остановки. И только его некогда бывшая львиной шевелюра безобразно развевалась над испещрёнными страдальческими волнами лбом. Человек походил на потерявшего корабль моряка, долго скитавшегося и не находившего себе места. Мне даже на мгновение показалось, что это не автобусная остановка с жёсткой скамейкой, а небольшая забегаловка-трактир. И тот человек, хоть и стоял на ногах, когда ждал автобуса, но казалось, что он лежал в пьяном угаре и рыдал, по каменным каплям собирая свой очаг, в котором розою горела соль, собранная со всех морей и океанов в одной чёрной ложке российской глубинки.

## ЗАВАРНИК

Сидорову позвонил его знакомый Михаил. В это время Сидоров как раз закончил сеанс связи в «Одноклассниках» со своей бывшей университетской любовью Ириной. Прошло уже двадцать пять лет после того, как они, закончив университет, расстались с Ириной сразу же после выпускного вечера из-за какого-то совершенного пустяка, ещё раз на практике подтвердив тезис о хрупкости человеческих отношений, легко ломающихся или даже просто исчезающих в момент небольшого разлада, словно быстро испаряющийся нестойкий клей.

Родственность душ почему-то мгновенно пропала, и они, как две половинки одного так и не соединившегося яблока, разъехались по разным городам-чашам и стали жить с чужими такими же половинками, соединённые с ними уже не эфирным, призрачным чувством душевного родства, а детьми – материальной субстанцией, против которой не возразишь.

Не возразишь против своих детей или родственников, так как плоть от плоти они твои и дополнительными частями твоего тела являются. С ними нет необходимости искать родственность в чём-то эфемерном и запредельном, вести с ними интересные беседы, как это не обязательно делать со своей рукой или ногой, дорожа ими и так, безо всяких размышлений о прочной и непоколебимой, словно фундамент, духовной любви.

А теперь Ирина для Сидорова превратилась просто в файл, эфирного или, лучше сказать, электронного духа, которого он уже не воспринимал как реально существующего человека.

Так вот, в этот самый момент, когда Сидоров разговаривал с компьютерным призраком Ирины, ему позвонил его хороший знакомый Михаил. В отличие от Ирины Михаил для Сидорова являлся вполне существующим персонажем, звонившим по самому что ни на есть реальному делу – занять денег.

Михаил никогда не отдавал долги, много пил, но занимал у Сидорова такие мизерные суммы, что не дать ему их – то же самое, что не подать страждущему напиток, когда тот плакучею ивой слёзно просит воды испить.

Просит ива хоть из-под земли ей воды достать, достать воды хоть каплю, хоть несколько монет каплями дать ему, из-под земли выкопать: Михаил попросил одолжить ему всего лишь сто рублей.

– Двенадцать рублей я найду, чтобы до тебя на маршрутке доехать, а на обратную дорогу из твоей сотни возьму, – пояснил нехитрый свой расклад Михаил.

– Но мне скоро надо будет уходить, поэтому поторапливайся, – перебил приятеля Сидоров. На самом деле Сидоров никуда не собирался и намеревался остаться дома, но не хотел, чтобы Михаил у него задерживался, так как в этот момент неприятен был ему его приятель и не хотелось с ним долго на равных душевно беседовать. Михаил врал Сидорову, что ему не хватило совсем немного денег на билет на пригородный автобус, Сидоров врал Михаилу о своей занятости.

– Мне с района шпалопропиточного завода добираться, – пояснил Михаил. – Я теперь там живу у знакомого, жена с тещей ещё осенью меня прогнали.

Шпалопропиточный завод находился на окраине Томска, и, видимо, у Ми-

хаила с его другом трубы горели основательно, раз в такую даль за ста рублями они собрались.

Сидоров ещё надеялся, что Михаил не придет, не доедет до него, а ещё по дороге на автобусную остановку соберёт эти несчастные деньги у встречающихся на его пути знакомых и сам себя быстро растеряет, когда тут же выпьет и потеряется, словно луч солнца в пасмурную погоду.

Но Михаил не был лучом – скорее, наоборот, и Сидорову совсем не хотелось его видеть – серая обыденность и без того выпивалась нелегко. Или, лучше сказать, серая мякина действительности, как однообразная череда одинаковых ячеек сотового воска, не содержала в себе мёд радости и только время от времени рассерженной пчелой жалила человека.

Однако Михаил приехал вовремя. Был он трезв, чисто одет, выглядел опрятным, и даже его ботинки походили на две новенькие миниатюрные чёрные автомашины-близнецы. Может быть, действительно, Михаил исправился и больше не пил, а сто рублей мало ли почему человек просит – да в шутку может попросить или для какой-нибудь магии, когда необходимо, чтобы кто-то посторонний тебе наудачу монетку бросил с искренним и чистым пожеланием счастья...

Впустив Михаила в квартиру, хмурый Сидоров сразу же начал собираться, надевать обувь и куртку, приговаривая:

– Еле тебя дождался, мне уже надо срочно уходить. На вот, держи сто рублей.

– Вот и отлично! – принимая деньги, радостно воскликнул Михаил. – Вместе прогуляемся. Погода прекрасная – от весны к лету уже тянет: жизнь возрождается, просыпается и желает вновь испытать пьянящий воздух ароматных трав, чтобы осенью упасть и на всю зиму залечь, словно медведь, заснувший беспробудным сном пьяницы, который выпил горячее лето и оставил только бутылку – ледяное, холодное и пустое стекло зимы.

Сидоров и Михаил вышли на улицу. Действительно, тянуло от весны к лету, так как, несмотря на седьмой час вечера, было очень светло, словно спящий медведь наконец-то проснулся и начал из тёмной берлоги выползать на свет божий, силой своей вытягивая за собой и весь мир.

– Давай провожу тебя до остановки да пойду в гости, ждут уже меня, – сказал Сидоров, сделав неопределённый жест в сторону нескольких девятиэтажных домов, стоящих за супермаркетом «Лама». Многоэтажки напоминали белые высокие зубы, готовые в любой момент съесть низенький продовольственный магазин.

Впрочем, зубы домов возвышались повсюду и росли прямо из бетонной челюсти асфальтированных дорог, по которым и шли Сидоров с Михаилом. Они шли по твёрдой челюсти – и городской гул можно было принять за звуки, издаваемые великим ртом, которому эта челюсть и принадлежала.

Сидоров злился и на Михаила, и на себя за то, что не хватает ему духа отказать старому знакомому – ведь понятно: тот нагло тянет не из весны в лето, а из него, Сидорова, жалкие рубли. Но вот именно – жалкие. И не потому ли злился Сидоров не столько на Михаила, сколько на себя, на свою жадность злился, на мелочность свою злился он, на то, что мелкий он, как букашка, и нет в нём широты разлитой, нет в нём того безоглядного чувства, которое последнюю рубаху повелевает отдать и ничего не бояться. Не бояться того, что исчезнешь

мелочью несущественной, если вовремя не очертишь свой зубастый бастион, после чего не сможешь слиться с бескрайним морем щедрости, а станешь скорлупкой-кораблём, от того моря твёрдой букою отделившимся.

И разве, думал Сидоров, Михаил не преподавал ему урок, попросив у него сущую малость безотказную, и вывел на следующую мысль: если бы человек у Господа просил малость, то и получал бы её незамедлительно, а не так, что счастье ему обязательно подай, счастье, о котором он понятия-то никакого не имеет. Боится человек чего-нибудь забыть и просит всего-всего – а Господь ни чего не даёт, как и Сидоров не дал бы Михаилу денег, если тот попросил у него хотя бы тысячу рублей.

Сидоров с Михаилом подошли к автобусной остановке. В этот момент Михаил рассказывал Сидорову о том, что в скором времени собирается ехать на юг: там у него образовалось одно замечательное дельце: отреставрировать каменных плакальщиц – уникальное творение неизвестных древних мастеров.

Плакальщицы были, словно из перегоревшего пепла, серыми женскими фигурами, всем своим видом выражающими скорбь и печаль. Эти три плакальщицы от камня слёзы свои точили, как от лука точит слёзы актёр, а от камня же плакали те неизвестные мастера и ваяли женщин.

Теперь же надо было те изваяния отреставрировать – и Михаила пригласили, так как считался он среди мастеров одним из самых горемычных и неприкаянных. И Михаилу решили поручить это дело, именно ему, тому, кто в чёрной судьбе своей мог найти скорбные краски и передать их так, что камень под ними заплачет, словно под накидкой женщина, заплачет от той скорби, от тех красок, которые боль людскую лучше всего раскрывают.

Сидорову не очень-то верилось в рассказ Михаила, особенно в то, что со дня на день тому должны перечислить деньги на билет в Крым. Сидоров вспомнил, как в январе этого года Михаил взял у него триста рублей для поездки к матери в деревню, но, загулав, так никуда и не поехал.

Наверное, Михаил был хорошим художником, и даже, возможно, ему предложили заняться в Крыму реставрацией каменных плакальщиц, только наверняка сделано это было в плане пожелания – и, конечно же, никто Михаилу никаких денег на проезд не вышлет...

Сидорову было неприятно и стыдно врать товарищу о своей якобы занятости. Возможно, Михаил это понял, но даже не обиделся, а со спокойной покорностью принял тот шип, которым встретил его Сидоров. Встретил не цветком радости, а шипом негостеприимства, словно соседа по даче, медленно, но упорно продвигающего свою изгородь вглубь земельного надела Сидорова. Здесь землёй являлись деньги Сидорова, малыми порциями незаметно отщипываемые Михаилом. На отщипанных, отвоёванных землях-деньгах расцветали сады бедных, но жёстких его гулянок, заканчивающихся бесплодным разорением, где Михаил лежал, словно убитый солдат, атакованный сотнями граммов водки.

Сидоров понимал: конечно, его товарищ готовится к очередному своему бою. Дойдя с Михаилом до остановки, Сидоров быстро, без «Марша славянки», с ним распрощался и пошёл по направлению к тем зубастым домам, расположенным за магазином «Лама».

И Сидоров пошёл в зубы и, покружив там, словно надутый скупой кулак, среди домов-зубов, вернулся к себе в квартиру, в свой каменный зуб, досадуя на себя, на то, что оказался достаточно плохим человеком и был негостеприимен только потому, что гость попросил одолжить ему сто рублей. Сидоров даже не предложил Михаилу чаю.

К этому времени Ирина с сайта «Одноклассников» уже ушла. Спрыгнула и вновь залетела в своё тело женщины бальзаковского возраста, жены и матери – и квадратик её огонька на сайте погас в неизвестном направлении. Хотя почему в неизвестном – Ирина проживала в Бийске.

Сидоров включил чайник и сел за стол. На столе стоял заварник. Человек смотрел на заварник, и ему казалось, что заварник – это и есть человеческая судьба. Или, лучше сказать, Сидоров думал – если бы он мог по заварнику ползти, то наверняка выбрал бы толстый путь, как и многие, по его широким бокам, а не по тонкой рукоятке-дужке, которая единственная способная поднять этот заварник над миром, над бездной керамической кружки, в которой попавшие в неё чайники могли бы многое рассказать и предсказать судьбу ползущего по заварнику человека, не нашедшего дужку гостеприимства и не напоившего чаем своего страждущего с похмелья плакальщика, льющего слёзы от повышенного давления Михаила.

## ДЕД

Вспоминается кинофильм «Семнадцать мгновений весны». Этот аскетичного чёрно-белого цвета фильм собирал всех нас вместе, и мы усаживались в зале перед телевизором и смотрели, как в квадратном чёрном ящике, словно в параллельном мире, шла своя жизнь, и там немецкие солдаты чётко отдавали честь, молодежато стуча щеголеватыми сапогами.

«Ах, какая же у них дисциплина!» – вслух с уважением восклицал дед и непрестанно курил, образуя вокруг себя синеватого цвета туман из табачного дыма, который почему-то успокаивал меня. Я вдыхал этот табачный дым, и через него мне с ещё большей силой передавалось настроение деда. И через дым я деда лучше начинал понимать, хотя продолжал удивляться тому, почему же дед восхищается немцами, ведь они хотели на войне ему кровь пустить не только из носа, но и из сердца, и даже из головы, которая, как я тогда по молодости лет считал, являлась намного ценнее сердца!

Но дед твердил своё, и под «Семнадцать мгновений весны» воодушевлённо рассказывал, как они, захватив на войне немецкий окоп, впервые досыта наелись трофейными деликатесами. Рассказал, как он с другом очень хотел уйти на фронт, потому что страшно боялся лезть в угольную шахту, которая постоянно обваливалась и обязательно кого-нибудь погребала под собой. Но война оказалась страшнее шахты – и чёрная форма эсесовцев на телеэкране читалась как от угля перегоревшая сажа...

Дед по ходу сериала делал свои короткие замечания – и облако папиросного дыма висело над нами и объединяло нас – и мы ещё больше проникались его рассказами под мерный голос Копеляна.

Под этот голос бабушка, смеясь, рассказывала, как недавно у деда случился

не сердечный приступ, а белой горячки. Дело было так: дед, как часто с ним это случалось, пришёл к ночи с работы домой уже изрядно подвыпивший, и вместо того, чтобы лечь спать, остался наедине с собой сидеть на кухне дальше попивать и курить, вслух о чём-то рассуждать да разговаривать. И вдруг слышит бабушка, как дед говорит примерно следующее: «А я вас не боюсь, даже не пытайтесь меня напугать!». И пару крепких слов он добавил, словно поставил на стол ещё два больших гранёных стакана; то есть бабушка так иносказательно выразилась, что два эти мата были очень крепки, как налитый в стаканы чистый спирт.

Бабушка решила проверить, с кем это её муж так недружелюбно разговаривает, и, случаем, не прокрались ли к нему его друзья-собутыльники в тот момент, когда она в другой комнате под православным крестиком ложилась спать. Накинув халат, вконец изведённая беспокойным супругом пожилая женщина зашла на кухню, но никого, кроме мужа, там не увидела.

– С кем это ты только что говорил? – спросила она деда.

– Как с кем, с чертями. Вон они из холодильника выглядывают!

Бабушка смеялась, когда об этом рассказывала, и православный крестик лежал на её груди как приставшая к ней маленькая веточка, оторвавшаяся от огромного христианского дерева. И эсесовцы на телеэкране, словно перебравшиеся из холодильника в телевизор черти, в своих чёрных формах никак не могли поймать переодетого белого ангела – Штирлица.

И мы все переживали за Штирлица и молились на него, но дед всё равно чертями восхищался и дымил, как кирпичный завод, в кочегарке которого он в то время работал.

## КРОКОДИЛОВ И ЕГО РОМАН

Крокодилов был милейшим человеком. Так все его знакомые обычно и говорили: «Крокодилов? Да это же милейший человек!». На самом деле Крокодилов не был милейшим человеком, даже наоборот, он не прочь был при случае и зло пошутить, потому что во всём видел странности, даже в разговорах с друзьями. Ему казалось, что слова, которые они произносили, уже настолько изъедены и изжёваны ими самими и другими людьми, что их стыдно становилось в своём рту держать. И даже когда Крокодилову родители звонили и спрашивали: «Как дела, сынок?», он внутри себя как-то удивлялся тому, что он чей-то сын, и что кто-то его считает родным человеком.

Конечно же, родителей он своих любил, но всё равно ему было странно то, что о нём кто-то беспокоится, так как самого себя Крокодилов недолюбливал, и слово «человек» уже давно не звучало для него гордо. Ему казалось, что люди и он сам – это существа, всего лишь бередимые заложенными в них червячками-генами, от этого ругающиеся или смеющиеся, в разговоре называющие друг друга братьями и всё время говорящие, словно понукаемые особым червём, ещё не открытым наукой не гением, а геном слов. И если этот ген выявить и привить тем же быкам, птицам и рыбам, то они тоже заговорят и начнут Крокодилову что-нибудь доказывать и гнуть свою линию, заставляя его пересмотреть своё отношение к животным и перейти на вегетарианскую еду.

От этого Крокодилу становилось очень грустно, и он сразу же начинал чувствовать, как цветные радостные лучи жизни обходят его стороной, и он всегда остаётся в тени, в темноте, становясь аскетом поневоле, затаившимся разведчиком-ниндзя, наблюдающим за всем происходящим со стороны, словно ждущим сигнала для того, чтобы начать действовать.

Крокодилов был писателем, и поэтому, получив сигнал, он не то чтобы выскакивал из-за угла с воинствующим криком и начинал крушить вокруг себя всё подряд. Нет, это будет сильно так сказать. Лучше сказать, в такие моменты Крокодилов спокойно брал в руки шариковую ручку и старался что-нибудь написать. В такие дни, сидя в кафе своего кабинета, он обычно смотрел в окно и ждал, когда придёт то единственное слово, новое, ещё никем не тронутое и такое желанное, чтобы наконец-то начать работать над романом, задуманном им ещё чуть ли не три года назад.

«Если романа нет в моей жизни, то нужно самому придумать роман», – так или примерно так рассуждал Крокодилов, прохаживаясь по кафе своего кабинета. Следует пояснить, что свой кабинет он иногда принимал за кафе, так как когда работал, любил поставить чашечку кофе на полированный письменный стол. Тем более что у Крокодилова были даже собеседники – и тогда получалась чуть ли ни целая компания завсегдатаев этого кафе. Дело в том, что его собеседниками являлись висевшие на окне шторы, которые, после того как Крокодилов приоткрывал оконную створку, под напором свежего воздуха начинали шевелиться, словно два разговаривающих огромных языка.

И Крокодилов беседовал со шторами, и даже им рассказывал о своём, наболевшем. А в ответ полоски узорчатой ткани, словно две лёгкие руки, точно привидения, обнимали Крокодилова и, как ему казалось, разговаривали с ним на ином, потустороннем языке, не требующем перевода в словесную форму.

Этот потусторонний язык напоминал картинки из сновидений. Картинки, существующие независимо друг от друга, как отдельные карты, при общении друг с другом складывались в какие-то затейливые калейдоскопы историй.

В такие минуты Крокодилов чувствовал, что образный язык и есть тот единственный универсальный язык, на котором разговаривают боги с людьми, так как он должен быть понятен всем без исключения и перевода.

В действительности же каждая отдельная картинка была понятна и ясна, но все вместе они слагались в такую запутанную историю, что невозможно становилось уяснить их истинный смысл. Не по силам было разгадать их мимолётную увертюру длиною в целый большой роман, который от начала и до конца мог прозвучать в быстрой фазе сна всего лишь за несколько секунд...

Вот так казалось Крокодилу, когда он сидел у раскрытого окна в обнимку со шторами, курил и дремал, любясь во сне на свой роман и рискуя нечаянно обронить на шторы искру, превратив их в сильный и живой язык с новыми, обжигающими словами, пламенеющими, как революционный транспарант.